

Жизнь — долг

Широко известны драматургические произведения, поэмы, стихотворения Юстинаса Марцинкявичюса. В прошлом году писатель выступил в новом для себя жанре — выпустил книгу эссе «Дневник без дат». Предлагаем вниманию читателей несколько фрагментов из этого дневника в переводе Г. Кановича.

ХОРОША дорога из Вильнюса на родину. Не соскучишься на ней. Пробежит мигом. Уже, кажется, назубок знаешь каждый поворот, каждый извив, каждый пригорок и горку, каждый лесок и пушу, каждый луг или поле. Бежит она, дорога, по долинам и вдоль озер, а ты все смотришь, удивляешься и надивиться не можешь, все восхищаешься и мысленно ахаешь: сколько тебе дано, человеке, прильни ко всему этому душой, наполни ее доверью, чтобы она заиграла, чтоб зарыдала от счастья, чтобы запела — и не важно, чьими словами — своими или чужими.

О если бы кто-нибудь знал, какой я сейчас хороший, какой просветленный, какой святой и как мне стыдно за всю ту муть, еще мающуюся во мне, за все то, что нет-нет да вырывается из темных глубин души! Сейчас я брат всему, сейчас и я объемлю, и меня объемлют. Волнующиеся луга, как звучат они во мне и как не хватает у меня слов, достойных этого чуда, этой слезы, подкатывающей к горлу, этого человека, идущего по деревенскому проселку... Нет у меня слов и для самого себя.

За Аукштаварисом, при въезде в Стаклишкяй, открывается широкая, как жизнь, долина. Я останавливаю машину, вылезая и ласково взглядом каждую усадьбу, купу дерев, озеро, догоняю взглядом каждую птицу, парящую то над одним краем долины, то над другим, вдыхаю все запахи, впитываю все звуки, а слов

у меня все нет и нет. Слишком высока эта волна, которая подхватила меня сейчас и несет. Литва, поймал я себя на мысли: вот она передо мной в той долине как на ладони. Здесь она явилась мне, как в какой-нибудь народной даине, как на расшитом покрывале или в каком-нибудь древнем-древнем документе. Или на карте, где и рельеф, и поселки когда-то были отмечены не условными знаками, а нарисованы и увиденны как бы с птичьего полета. Да, ни дать ни взять — миниатюра. Повесил бы на шею и носил бы, как носили наши отцы ладанки. И никогда бы не снимал.

А слов все нет и нет. Вершины чувства — безмолвны. Для того чтобы свершилось творчество, необходимо равновесие. Но так ли уж важно творчество? Это переживание, эта волна, которая несет тебя — ко всем, со всеми, эта горькая радость, которую можно назвать существованием и от которой так хорошо на душе — вот где истинная поэзия. Хочешь поделиться со всеми — и не можешь. Слово для молитвы, слетают четыре слова:

Не отнять,
Не продать,
Не разлюбить,
Не показать.

Это не стихотворение. Это скорее закливание, формула, которой, как саваном, я накрываю эту долину. Кажется, я переполнен ею, кажется, она переполнена мной.

В такие-то мгновения и живет поэт. Может быть, катарсис, который он испытал, останется невоспетым, но все равно — в него, в поэта, входит Литва и припадает к его сердцу:

Здесь словечками
ласковыми
припорошены стежки
и вишни.

О, как видно далеко,
как далеко здесь слышно.

Такая глубина, что до самого себя и не добраться.

КАЖДЫЙ день я могу слушать пластинки с записями народных дайн в исполнении деревенских певцов. Я закрываю глаза и чувствую, как меня заливают, окутывают все, что было. Слово не песню поют, а то, что я знаю, все мое прошлое «выпевают», все, что помнится и что забыто. Я чувствую невыразимую слитность с землей и небом, деревьями и птицами, с людьми и их жизнями, со всем этим краем. Как некие ритуальные знаки национальной жизни светят эти песни в горных высях нашего духа, окутывают нас таким множеством видений, какое не в состоянии предложить нам никакая другая музыка. Народ, создавший такие песни, только за них достоин бессмертия.

Это слишком громкие слова. Я знаю, что никого словами не смогу убедить. Лучше я закрою глаза и склоню голову над пластинкой с записью певцов из деревни Жюрай. Хотите верьте, хотите нет, но после этого я стану лучше.

Следом за народной песней я мог бы идти и идти.

ИЗУЧАЯ литовский язык и литературу, я прикоснулся к немногочисленным, но от этого не менее дорогим памятникам нашей письменности и культуры, которые отложились во мне в виде глубоких пластов национального опыта. Я не раз опирался на них в своих сочинениях, они способствовали и способствуют моему пониманию традиций творчества как показателя жизнеспособности народа. В этом смысле вся история народа уместается в нас, мы пронизаны историей насквозь. Своим человеческим содержанием она всегда актуальна, ее свет всегда

ложится на наши труды и дела. «Нет никакого «было», есть только «есть» (У. Фолкнер). Человек, не представляющий себя в истории и истории в себе, — наг, слаб и одинок.

И опять же: только через национальную историю мы прикасаемся к мировой истории, через нее мы включаемся в историческое действие человечества. При посредстве национальной истории мы идентифицируем себя. Познаем друг друга. Составляем. Сравниваем. Нет «хорошей» или «плохой» истории — такой ее делают наши усилия приноравливать ее к злободневности.

ЕСЛИ сегодня уподобить нашу национальную культуру высокому, широко и буйно разросшемуся дереву, то можно утверждать, что под венком его ветвей уместается все мы, что каждый из нас находит под его сенью и радость, и отдохновение и черпает силы и крепость духа, что шестист это дерево, нащепывая о нашей жизни и судьбе, о нашем стремлении понять себя, свою цель и место под солнцем. Корни этого дерева уходят вглубь — в пласты национального опыта, к нашей радости и к нашей гордости, всякий раз являя из недр все новые жемчужины художественного самовыражения народа. Именно ему, своему национальному началу, явления искусства литовского народа и обязаны тем вниманием, какое им оказывают читатели, зрители и слушатели — представители других народов.

А если и дальше развертывать сравнение нашей культуры с деревом, то мы непременно заметим, как чутко реагируют листья и ветви этого дерева на излучение художественного опыта других народов, как впитывают его в себя и затем возвращают нам в новом, неожиданном, уже литовском качестве. Культура может жить и развиваться,

только выполняя свою национальную и интернациональную миссию — иначе говоря, когда она дает и берет.

ПОПЫТАЕМСЯ же понять жизнь как долг: как долг человека перед человеком, как долг человека перед обществом, как долг общества перед человеком, как долг солнца перед землей, как долг отцов перед детьми, как долг детей перед отцами, как долг труженика перед работой, как наш долг перед правдой и верностью, как долг ученого перед наукой, как преданность поэта и его долг перед поэзией, как долг перед добром и красотой, как долг перед своим народом, как долг перед свободой, как долг перед сегодняшним и завтрашним днем, как долг перед деревом и птицей.

В этом моя позиция. На том стою, взметнув свое знамя «жизнь — долг». И оружие мое направлено против основного врага — против скотского, потребительского и, увы, могучего принципа «жизнь — удовольствие». Я утверждаю, что истинное, достойное человека удовольствие — это осознанный и сознательно выполняемый долг. Как осознанная необходимость есть свобода.

Когда я говорю о добре, то всегда подразумеваю красоту. Все доброе, справедливое, благородное и порядочное всегда красиво... Поскольку эти понятия выражают идеальные состояния, в которые приходит жизнь, если понимать ее как осознанный долг, то вернее было бы сказать так: красиво все то, что, борясь, стремится ко всему доброму, справедливому, благородному, порядочному, мудрому, свободному и живому...

Вот что такое героическая эстетика, которая стремится в художественных формах изобразить действительность как нескончаемый конфликт, движение и борьбу. Только в этой борьбе жизнь разумна и красива, следовательно, целесообразна и осмысленна.

В этом моя позиция. На том стою.